

ОКТАВ МИРБО

Гад
мух

ЦВЕТЫ, РОЖДЁННЫЕ КРОВЬЮ

Октав Мирбо

Сад мук

«Автор»

2026

Мирбо О.

Сад мук / О. Мирбо — «Автор», 2026

Октав Мирбо написал книгу, которую боятся и обожают уже больше века. «Сад мук» — это не просто роман о путешествии в экзотический Китай. Это головокружительное погружение в глубины человеческой души, где грань между наслаждением и страданием стирается до прозрачности. Герой, уставший от фальши, случайно становится спутником мисс Клары — существа одновременно божественного и демонического, для которого боль — высший эротический опыт. Они проходят через ворота таинственного парка, где казни превращены в театральное действо, деревья усеяны человеческими телами, а цветы впитали столько крови, что стали живыми символами смерти. Но этот сад — не просто экзотическая декорация. Это зеркало, в котором читатель увидит собственные тёмные желания, страхи и тайные влечения. Мирбо пишет с ледяной иронией и поэзией, заставляя нас отворачиваться и заглядывать в бездну. «Сад мук» — это вызов, от которого невозможно отказаться. Откройте книгу, если готовы к самому опасному путешествию в своей жизни.

© Мирбо О., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО	5
ФРОНТИСПИС	7
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	15
В МИССИИ	15
I	16
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Октав Мирбо

Сад мук

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Октав Мирбо (1848–1917) — фигура в истории французской литературы одновременно и центральная, и стоящая особняком. Друг Родена и Клоделя, близкий к анархистским кругам, яростный обличитель буржуазного лицемерия, он оставил после себя романы, пьесы и памфлеты, которые до сих пор сохраняют способность тревожить, раздражать и завораживать. Среди всего его наследия «Сад мук» (*Le Jardin des supplices*, 1899) — едва ли не самая скандальная и самая поэтичная книга, своего рода чёрная жемчужина *fin de siècle*, где натурализм, символизм и декадентская эстетика сливаются в единый, почти галлюцинаторный поток.

Действие романа формально обрамлено как рассказ европейца, получившего фиктивную научную миссию на Цейлон, но на деле — это путешествие в самое сердце тьмы, только тьмы не географической, а метафизической. Герой попадает в орбиту загадочной мисс Клары, женщины, чья красота и одержимость смертью становятся для него навязчивым наваждением. Вместе они проникают в «Сад мук» — гигантский, фантазмагорический парк в Китае, где пытки и казни возведены в ранг изысканного искусства, где цветы питаются кровью, а палачи философствуют о любви. Эта книга — не исторический документ и не реалистическое описание Востока; это грандиозная аллегория, где Китай служит лишь декорацией для универсальной драмы: человек перед лицом страдания, наслаждения и неистребимой жажды разрушения.

Мирбо создаёт мир, в котором все привычные ориентиры смещены. Здесь добро и зло, красота и уродство, любовь и ненависть, эрос и танатос переплетены в таком тесном танце, что их почти невозможно различить. Пыточные орудия становятся цветами, а цветы — орудиями; палач рассуждает о ботанике, а героиня, Клара, — существо одновременно ангельское и демоническое — видит в муках высшее проявление жизненной силы. Это литература на пределе: она не щадит читателя, не даёт моральных оценок, но погружает в состояние гипнотического созерцания, где ужас и восторг неразделимы.

Важно понимать, что Мирбо писал «Сад мук» в эпоху, когда европейское сознание было одержимо идеями вырождения, бессознательного, дионисийского начала. Его книга перекликается с «По ту сторону добра и зла» Ницше, с психопатологическими исследованиями Крафт-Эбинга, с живописью Гюстава Моро и Одилона Редона. Но при этом она остаётся удивительно современной — в ней слышны отголоски того, что позже назовут чёрным юмором, сюрреализмом, даже телесным хоррором. Мирбо предвосхитил многие темы XX века: тоталитарное насилие, эстетизация политики, превращение человека в объект манипуляции. Его «Сад» — это не экзотика, а зеркало, в котором Европа могла бы увидеть свои собственные кошмары, прикрытые вывеской цивилизации.

Настоящее издание предлагает читателю новый перевод — или, точнее, новый вариант литературной редакции уже существующего перевода. Мы поставили перед собой задачу максимально приблизить язык к русской художественной прозе, сохранив при этом все смысловые нюансы, стилистическую сложность и мрачную красоту оригинала. Устранены кальки и буквализмы, тяжеловесные конструкции перестроены для естественного звучания, диалоги обрели живую интонацию — но при этом мы тщательно оберегали атмосферу эпохи, мрачный декадентский пафос и авторскую иронию. Результат, как нам кажется, читается так, словно Мирбо писал по-русски, а затем текст был бережно подготовлен к публикации современным редактором.

Тем не менее, предупреждаем: «Сад мук» — книга не для слабонервных. В ней нет ни назидательности, ни морального просветления. Она действует как наркотик или как кошмарный сон: вы не всегда будете понимать, что именно вас так задевает, но вы не сможете оторваться. И возможно, после последней страницы вы почувствуете, что мир вокруг стал чуть иным — более таинственным, более жестоким, но и более прекрасным в своей непостижимости. Именно такой эффект и задумывал автор.

В добрый путь — или, если угодно, в опасное путешествие. Сад ждёт вас. И он уже цветёт.

ФРОНТИСПИС

Священникам, солдатам, судьям —
тем, кто воспитывает, направляет, управляет людьми, —
посвящаю я эти страницы убийства и крови.

О. М.

Однажды вечером несколько друзей собрались у одного из наших знаменитейших писателей. Плотно поужинав, заспорили об убийстве — по какому поводу, уже не припомнить, да, скорее всего, и вовсе без повода. Сошлись мужчины: моралисты, поэты, философы, врачи — люди, способные говорить свободно, без оглядки, по причуде или по парадоксу. Им не страшен испуг, который всякая смелая мысль вызывает у потрясённых нотариусов. Я говорю «нотариусы» — мог бы сказать «адвокаты» или «швейцары»; не из презрения, конечно, а чтобы обозначить некий средний сорт французского обывателя.

С невозмутимым спокойствием, словно речь шла о достоинствах сигары, которую он курил, один из членов Академии моральных и политических наук изрёк:

— Чёрт возьми!.. — он помедлил, словно пробуя мысль на вкус. — Я, пожалуй, верю, что убийство — это величайшая человеческая забота. И все наши поступки проистекают из него.

Все ждали пространной теории. Он замолчал.

— Очевидно! — отозвался учёный-естествоиспытатель, последователь Дарвина. — И вы, дорогой мой, высказываете одну из тех вечных истин, какие ежедневно открывал легендарный господин де Лапалис... Раз убийство лежит в основе всех наших общественных установлений, стало быть, оно — самая насущная необходимость цивилизованной жизни. Если бы не стало убийств, не стало бы и правительств. Замечательный факт: преступление вообще, а убийство в особенности — не только их оправдание, но и единственная причина их существования. Тогда бы мы жили в полной анархии, что немыслимо. Поэтому вместо того, чтобы пытаться уничтожить убийство, его необходимо разумно и настойчиво возделывать. И лучшего способа, чем законы, я не знаю.

Кто-то запротестовал.

— Ну-ка! — сказал учёный. — Мы ведь между собой, и говорим без лицемерия?

— Прошу вас!.. — подтвердил хозяин дома. — Воспользуемся вволю единственным случаем, когда нам позволено высказывать сокровенные мысли. Ибо я в своих книгах, а вы в своих лекциях можем предложить публике только ложь.

Учёный ещё глубже уткнулся в подушки кресла, вытянул затекшие ноги, откинул голову, свесил руки, погладил живот, блаженно переваривающий ужин, и пустил в потолок колечки дыма.

— Впрочем, — продолжал он, — убийство и само по себе возделывается достаточно... Собственно, оно не результат страсти и не патологическая форма вырождения. Это жизненный инстинкт, который живёт в нас, — есть во всех организованных существах и господствует над ними, как инстинкт размножения. И это настолько верно, что большую часть времени эти два инстинкта так хорошо сочетаются, так совершенно сливаются, что составляют, в некотором роде, единое целое. И уже не знаешь, который из двух толкает нас дарить жизнь, а который — отнимать, который — убийство, а который — любовь. Я выслушивал признания одного почтенного убийцы: он убивал женщин не для грабежа, а чтобы изнасиловать. Его спорт состоял в том, чтобы спазм удовольствия одного точно совпадал со спазмом смерти другой. «В эти мгновения, — говорил он мне, — я воображал, что я Бог и что творю мир!»

— Ах! — воскликнул знаменитый писатель. — Если вы ищете примеры среди профессиональных убийц!

Учёный мягко возразил:

— Да потому что мы все, более или менее, убийцы... Все мы в мыслях испытывали — в меньшей степени, я хочу верить, — сходные ощущения. Врождённую потребность в убийстве мы сдерживаем, ослабляем её физическую силу, давая законные выходы: промышленность, колониальная торговля, война, охота, антисемитизм... Потому что опасно предаваться ей без меры, вне закона. А моральные удовлетворения, которые из неё извлекаешь, в конце концов не стоят того, чтобы подвергаться обычным последствиям этого акта — тюремному заключению, утомительным беседам с судьями, лишённым научного интереса, и наконец, гильотине...

— Вы преувеличиваете, — прервал первый собеседник. — Только убийцы без изящества, без ума, грубые импульсивные создания, лишённые психологии, — для них убийство опасно. Человек умный и рассудительный может с невозмутимым спокойствием совершить все убийства, какие пожелает. Безнаказанность ему обеспечена. Его превосходство всегда возьмёт верх над рутиной полицейских розысков и, скажем прямо, над скудостью следственных методов, которыми увлекаются судебные следователи. В этом деле, как и во всех прочих, платят маленькие за больших. Послушайте, дорогой мой, вы ведь допускаете, что число нераскрытых преступлений...

— И терпимых...

— И терпимых... я это и хотел сказать... Вы допускаете, что это число в тысячу раз больше числа раскрытых и наказанных, о которых газеты болтают с такой странной многословностью и столь отвратительным отсутствием философии? Если вы это допускаете, согласитесь и с тем, что жандарм — не пугало для интеллектуалов убийства.

— Несомненно. Но речь не о том... Вы смещаете вопрос. Я говорил, что убийство — это нормальная и отнюдь не исключительная функция природы и всякого живого существа. И возмутительно, что под предлогом управления людьми общества присвоили себе исключительное право убивать — в ущерб индивидам, у которых одно это право и есть.

— Совершенно верно! — подтвердил словоохотливый философ, чьи лекции в Сорбонне еженедельно привлекали избранную публику. — Наш друг совершенно прав. Что до меня, я не верю, что существует человеческое создание, которое не было бы — по крайней мере, потенциально — убийцей. Вот, например, я иногда развлекаюсь в салонах, в церквях, на вокзалах, за столиками кафе, в театре — везде, где проходят и толпятся люди, — я развлекаюсь тем, что рассматриваю физиономии строго с точки зрения убийства. Во взгляде, в затылке, в форме черепа, челюстей, скул — все, в какой-то части своей особы, носят явные стигматы этой физиологической предопределённости. Это не помешательство моего ума, но я не могу ступить шагу, чтобы не столкнуться с убийством, не увидеть, как оно вспыхивает под веками, не ощутить его таинственного прикосновения в руках, протянутых ко мне. В прошлое воскресенье я отправился в одну деревню, где был престольный праздник. На главной площади, украшенной гирляндами, цветочными арками, флагами, были собраны всевозможные увеселения, обычные в таких народных гуляньях. И под отеческим оком властей толпа добрых людей развлекалась. Карусели, американские горки, качели привлекали мало народу. Напрасно шарманки гнусавили свои самые весёлые мотивы. Другие удовольствия влекли эту праздничную толпу. Одни стреляли из карабина, пистолета или арбалета по мишеням, изображавшим человеческие лица; другие сбивали пулями марионеток, жалко выстроившихся на деревянных брусках; те колотили молотком по пружине, которая заставляла патриотически двигаться французского матроса, пронзающего штыком бедного гоа или смешного дагомейца. Всюду, под палатками и в маленьких освещённых лавках, — подобия смерти, пародии на бойню, изображения гека-томб. И эти добрые люди были счастливы!

Все поняли, что философ разошёлся. Мы уселись поудобнее, чтобы выдержать лавину его теорий и анекдотов. Он продолжал:

— Я даже заметил, что эти мирные развлечения за последние годы значительно расширились. Радость убийства стала сильнее и более общедоступной по мере того, как нравы смягча-

ются — а нравы смягчаются, не сомневайтесь! Прежде, когда мы ещё были дикарями, воскресные тиры были до скуки бедны и унылы. Стреляли только по трубкам и яичным скорлупкам, пляшущим на струях воды. В самых роскошных заведениях были птицы, но гипсовые... Какое удовольствие, спрашиваю я вас? Сегодня, с прогрессом, всякий честный человек может за две копейки получить тонкое и цивилизующее ощущение убийства. Вдобавок можно выиграть расписные тарелки и кроликов. На смену трубкам, скорлупкам и гипсовым птицам, которые глупо разбивались, не вызывая ничего кровавого, ярмарочная фантазия поставила фигуры мужчин, женщин, детей — тщательно сочленённые и одетые как положено. Затем эти фигуры заставили жестиковать и двигаться. С помощью хитроумного механизма они прогуливаются, счастливые, или убегают в ужасе. Их можно видеть появляющимися поодиночке или группами в декоративных пейзажах, карабкающимися на стены, входящими в донжоны, вываливающимися из окон, выскакивающими из люков. Они действуют как живые существа, у них движения рук, ног, головы. Есть такие, что словно плачут... есть похожие на бедняков... есть похожие на больных... есть одетые в золото, как сказочные принцессы. Право, можно вообразить, что у них есть ум, воля, душа... что они живые! Некоторые принимают даже патетические, умоляющие позы... Кажется, слышишь, как они говорят: «Пощади!.. не убивай меня!..» Поэтому ощущение восхитительно — думать, что сейчас убьёшь вещи, которые движутся, выступают, страдают, умоляют! Когда наводишь на них карабин или пистолет, во рту появляется привкус горячей крови. Какая радость, когда пуля сносит головы этим подобиям людей!.. какое топанье ногами, когда стрела пронзает картонные груди и валит на землю маленькие бездыханные тела в позах трупов! Каждый возбуждается, ожесточается, подбадривает... Слышны только слова разрушения и смерти: «Прикончи его!.. целься в глаз... целься в сердце... Он своё получил!» Насколько эти добрые люди остаются равнодушными перед картонками и трубками, настолько они восторгаются, если мишень изображает человеческую фигуру. Неумехи сердятся не на свою неумелость, а на марионетку, в которую промахнулись... Они обзывают её трусом, осыпают гнусной бранью, когда она исчезает невредимой за дверью донжона... Они бросают ей вызов: «Ну-ка выйди, мерзавец!» И продолжают стрелять, пока не убьют... Поглядите на них, этих добрых людей. В эту минуту они — настоящие убийцы, существа, движимые единственным желанием убивать. Грубая убийца, дремавшая в них до сих пор, проснулась перед этой иллюзией, что они уничтожат нечто живое. Ибо маленький картонный, тряпичный или деревянный человек, который появляется и исчезает в декорации, уже не игрушка, не кусок мёртвой материи. Глядя, как он появляется и исчезает, они бессознательно наделяют его теплотой крови, чувствительностью нервов, мыслью — всем, что так сладостно уничтожать, так свирепо восхитительно видеть, как оно сочится из ран, которые ты нанёс. Они даже доходят до того, что приписывают маленькому человечку политические или религиозные убеждения, противные их собственным, обвиняют его в том, что он еврей, англичанин или немец, чтобы добавить к общей ненависти к жизни ещё и особую ненависть и тем удвоить инстинктивное удовольствие убийства личной мстостью, смакуемой в глубине души.

Тут вмешался хозяин дома, который из вежливости к гостям и с благотворительной целью дать передохнуть нашему философу и нам самим, мягко возразил:

— Вы говорите только о грубых людях, о крестьянах, которые, согласен, находятся в постоянном состоянии убийства... Но невозможно, чтобы те же наблюдения вы применяли к «образованным умам», к «просвещённым натурам», к светским личностям, например, каждый час жизни которых отмечен победами над изначальным инстинктом и дикими пережитками атавизма.

На это философ живо ответил:

— Позвольте... Каковы привычки, любимые удовольствия тех, кого вы, дорогой мой, называете «образованными умами и просвещёнными натурами»? Фехтование, дуэль, жестокие виды спорта, отвратительная стрельба по голубям, бой быков, разнообразные упражнения

патриотизма, охота... всё это, в сущности, не что иное, как регресс к эпохе древних варварств, когда человек — если можно так выразиться — по нравственной культуре был подобен крупным хищникам, за которыми охотился. Впрочем, не следует жаловаться, что охота пережила весь плохо преобразённый аппарат этих праотческих нравов. Это сильный отводной канал, через который «образованные умы» отводят, без слишком большого ущерба для нас, то, что всё ещё остаётся в них от разрушительной энергии и кровавых страстей. Без этого, вместо того чтобы гонять оленя, травить кабана, истреблять невинных пернатых на люцерновых полях, будьте уверены, что по нашим следам «образованные умы» спустили бы свои своры, и это нас «просвещённые натуры» весело укладывали бы выстрелами — что они, между прочим, и делают, когда у них есть власть, тем или иным способом, с большей решимостью и — признаем откровенно — с меньшим лицемерием, чем грубые люди... Ах! никогда не пожелаем исчезновения дичи на наших равнинах и в лесах! Она наше спасение и, в некотором роде, наш выкуп. В день, когда она вдруг исчезнет, мы быстро найдём ей замену для тонкого удовольствия «образованных умов». Дело Дрейфуса служит тому прекрасным примером, и никогда, кажется, страсть к убийству и радость охоты на человека не выставлялись так полно и цинично. Среди необычайных происшествий и чудовищных фактов, которым она ежедневно давала повод в течение года, наиболее характерным и весьма почётным для «образованных умов и просвещённых натур» остаётся преследование господина Гримо на улицах Нанта; они покрыли оскорблениями и угрозами смерти этого великого учёного, которому мы обязаны прекраснейшими трудами по химии. Следует всегда помнить, что мэр Клиссона, «образованный ум», в письме, преданном гласности, отказал господину Гримо во въезде в свой город и пожалел, что современные законы не позволяют ему «повесить его на первом суку», как это водилось с учёными в славные времена старых монархий. За что этот достойный мэр был горячо одобрен всем тем, что Франция насчитывает из этих «светских личностей», столь изысканных, которые, по словам нашего хозяина, ежедневно одерживают блестящие победы над изначальным инстинктом и дикими пережитками атавизма. Заметьте, кроме того, что именно среди образованных умов и просвещённых натур почти исключительно вербуются офицеры, то есть люди, ничуть не более злые, ничуть не более глупые, чем другие, но свободно избирающие профессию — впрочем, весьма почтенную, — где все интеллектуальные усилия направлены на то, чтобы совершать над человеческой личностью самые разнообразные насилия, развивать, умножать самые полные, самые широкие, самые верные способы грабежа, разрушения и смерти. Разве не существуют военные корабли, которым даны совершенно верные и правдивые названия «Опустошение», «Ярость», «Ужас»? А я сам?... Ах! вот!.. Я уверен, что я не чудовище... я считаю себя нормальным человеком, с нежностями, возвышенными чувствами, высокой культурой, утончённостью цивилизации и общительности. И однако, сколько раз я слышал, как во мне гремел повелительный голос убийства! Сколько раз я чувствовал, как поднимается из глубины моего существа к мозгу, в приливе крови, желание — острое, бурное и почти непреодолимое — убивать! Не думайте, что это желание проявлялось в минуту страсти, сопровождало внезапный и безрассудный гнев или сочеталось с низкой денежной корыстью. Ничуть. Это желание возникает внезапно, мощное, ничем не оправданное, ни с того ни с сего... например, на улице, при виде спины незнакомого прохожего... Да, на улице есть спины, которые зовут нож... Почему?..

На этом неожиданном признании философ умолк на мгновение, оглянул нас всех с испуганным видом... И продолжил:

— Нет, видите ли, как ни рассуждай моралисты... потребность убивать рождается у человека вместе с потребностью есть и сливается с нею. Эта инстинктивная потребность, которая есть двигатель всех живых организмов, воспитание развивает, а не подавляет, религии освящают, а не проклинают; всё объединяется, чтобы сделать её стержнем, вокруг которого вращается наше восхитительное общество. Как только человек пробуждается к сознанию, ему вдувают в мозг дух убийства. Убийство, возвеличенное до долга, популяризированное до геро-

изма, будет сопутствовать ему на всех этапах существования. Ему заставят обожать причудливых богов, бешеных безумцев, которым любезны только катаклизмы, и которые, одержимые свирепостью, упиваются человеческими жизнями, косят народы как хлебные поля. Ему заставят уважать только героев — этих отвратительных грубиянов, обременённых преступлениями и красных от человеческой крови. Добродетели, которые возвысят его над другими и принесут ему славу, богатство, любовь, будут опираться исключительно на убийство. Он найдёт в войне высший синтез вечного и всеобщего безумия убийства, убийства узаконенного, организованного, обязательного, которое есть функция государства. Куда бы он ни пошёл, что бы ни делал, он всегда увидит слово «убийство», бессмертно начертанное на фронте этой огромной бойни, что зовётся Человечеством. Так почему же этот человек, которому с детства внушают презрение к человеческой жизни, которого посвящают в законное убийство, должен колебаться перед убийством, когда он находит в нём интерес или развлечение? Во имя какого права общество станет осуждать убийц, которые, по сути, лишь следовали убийственным законам, им издаваемым, и кровавым примерам, им подаваемым? — «Как же так, — могли бы сказать убийцы, — сегодня вы заставляете нас приканчивать кучу людей, к которым мы не питаем ненависти, которых даже не знаем; чем больше мы их приканчиваем, тем больше вы осыпаете нас наградами и почестями! А в другой день, доверившись вашей логике, мы устраняем существ, потому что они нам мешают и мы их ненавидим, потому что мы хотим их денег, их жены, их места, или просто потому, что нам радостно их устранять: всё это точные, правдоподобные и человеческие причины. И тут же — жандарм, судья, палач! Вот возмутительная несправедливость, лишённая здравого смысла!» Что могло бы ответить на это общество, если бы оно хоть сколько-нибудь заботилось о логике?..

Молодой человек, до сих пор не проронивший ни слова, сказал тогда:

— Неужели это объяснение той странной мании убийства, которой, как вы утверждаете, все мы поражены — изначально или по выбору? Я не знаю и не хочу знать. Я предпочитаю верить, что в нас всё тайна. Это больше удовлетворяет лень моего ума, который питает отвращение к решению социальных и человеческих проблем, которые, впрочем, никогда не решаются, и это укрепляет меня в идеях, в чисто поэтических доводах, которыми я склонен объяснять, или, вернее, не объяснять всё, чего я не понимаю. Вы, дорогой мэтр, только что сделали довольно страшное признание и описали ощущения, которые, если бы они приняли активную форму, могли бы завести вас далеко, и меня тоже, ибо я часто испытывал эти ощущения, и совсем недавно, при весьма банальных обстоятельствах, которые я сейчас расскажу. Но, прежде всего, позвольте мне добавить, что эти ненормальные состояния духа я, возможно, обязан среде, в которой вырос, и ежедневным влияниям, проникшим в меня помимо моей воли. Вы знаете моего отца, доктора Трепана. Вы знаете, что нет человека более общительного, более обаятельного, чем он. Нет также человека, чья профессия сделала бы его более решительным убийцей. Много раз я присутствовал при этих чудесных операциях, которые прославили его на весь мир. Его презрение к жизни поистине поразительно. Однажды он только что сделал при мне очень трудную лапаротомию, как вдруг, осмотрев свою пациентку, ещё спавшую под хлороформом, сказал: «У этой женщины, должно быть, поражение привратника... Не вскрыть ли мне заодно и желудок? Время есть». Он так и сделал. У неё ничего не было. Тогда мой отец принялся зашивать бесполезную рану, приговаривая: «По крайней мере, теперь мы знаем наверняка». Он узнал наверняка тем более, что пациентка умерла в тот же вечер. В другой раз, в Италии, куда его вызвали на операцию, мы осматривали музей... Я восхищался... «Ах! поэт! поэт! — воскликнул мой отец, который ни на мгновение не заинтересовался шедеврами, приводившими меня в восторг. — Искусство!.. искусство!.. прекрасное!.. знаешь, что это такое? Ну так вот, мой мальчик, прекрасное — это живот женщины, вскрытый, окровавленный, с зажимами внутри!» Но я уже не философствую, я рассказываю... Извлеките из моего

обещанного рассказа все антропологические следствия, какие он содержит, если он вообще их содержит...

В манерах этого молодого человека было столько уверенности, в голосе — столько остроты, что мы слегка вздрогнули.

— Я возвращался из Лиона, — продолжал он, — и был один в купе первого класса. На какой-то станции, уже не помню, вошёл пассажир. Раздражение от того, что тебя потревожили в одиночестве, может вызвать очень сильные состояния ума и предрасположить к дурным поступкам, согласен... Но я не испытывал ничего подобного. Я так скучал в одиночестве, что случайное появление этого спутника было мне, скорее, поначалу даже приятно. Он устроился напротив меня, аккуратно положив в сетку свой мелкий багаж. Это был толстяк, вульгарного вида, и его жирная, лоснящаяся уродство вскоре стало мне противно. Через несколько минут, глядя на него, я почувствовал непреодолимое отвращение. Он развалился на подушках, тяжело, расставив ноги, и его огромный живот при каждом толчке поезда трясся и перекатывался, словно мерзкий студенистый мешок. Поскольку ему, видимо, было жарко, он снял шляпу и грязно вытер пот со лба — низкого, шершавого, бугристого, который, словно проказа, был изъеден короткими, редкими и слипшимися волосами. Его лицо было просто нагромождением жировых складок; тройной подбородок, дряблый галстук из мягкого мяса, плавал на груди. Чтобы избежать этого неприятного зрелища, я решил смотреть в окно и постарался полностью отвлечься от присутствия этого назойливого спутника. Прошёл час... И когда любопытство, сильнее моей воли, снова привлекло мой взгляд к нему, я увидел, что он заснул отвратительным, глубоким сном. Он спал, съёжившись, свесив голову на плечи, а его толстые, одутловатые руки лежали, широко раскрытые, на покатости бёдер. Я заметил, что его круглые глаза выпячивались под морщинистыми веками, в прорези которых виднелся крошечный уголок голубоватых зрачков, похожий на кровоподтёк на лоскуте дряблой кожи. Какое безумие внезапно пронеслось у меня в голове? Право, не знаю... Ибо если меня часто и влекло к убийству, это оставалось во мне в зародышевом состоянии желания и никогда ещё не принимало точной формы жеста и действия. Могу ли я думать, что одна лишь гнусная уродство этого человека могла определить этот жест и действие? Нет, есть причина глубже, и я её не знаю. Я тихо встал и приблизился к спящему, растопырив руки, сведённые и сильные, как для удушения.

На этом слове, как рассказчик, умеющий рассчитать эффект, он сделал паузу. Затем, с явным самодовольством, продолжал:

— Несмотря на мою довольно хилую наружность, я наделён необычной силой, редкой подвижностью мышц, чрезвычайной мощностью хватки, и в тот момент странный жар удесятирил динамику моих физиологических способностей. Мои руки сами собой тянулись к шее этого человека, сами собой, уверяю вас, горячие и страшные. Я чувствовал в себе лёгкость, упругость, прилив нервных волн, что-то вроде сильного опьянения половым вожделением. Да, то, что я испытывал, я не могу лучше сравнить ни с чем иным. В тот миг, когда мои руки должны были сжаться, нерасторжимыми тисками, на этой жирной шее, человек проснулся... Он проснулся с ужасом во взгляде и пробормотал: «Что?... что?... что?..» И всё! Я видел, что он хочет ещё говорить, но не смог. Его круглый глаз заколебался, как маленький огонёк, колеблемый ветром. Затем он застыл на мне, неподвижно, в ужасе. Не говоря ни слова, не ища даже извинения или объяснения, которые успокоили бы человека, я снова сел напротив него и небрежно, с лёгкостью, которая до сих пор меня удивляет, развернул газету, которую, впрочем, не читал. С каждой минутой ужас в глазах человека усиливался, он постепенно перекашивался, и я видел, как его лицо покрывалось красными пятнами, затем багровело, затем застывало. До самого Парижа взгляд человека сохранял свою пугающую неподвижность. Когда поезд остановился, человек не вышел.

Рассказчик зажёл сигарету от пламени свечи и, выпустив клуб дыма, флегматично произнёс:

— Ещё бы!.. Он был мёртв!.. Я убил его кровоизлиянием в мозг.

Этот рассказ вызвал среди нас большое замешательство. Мы переглянулись с изумлением. Был ли этот странный молодой человек искренен? Хотел ли он нас мистифицировать? Мы ждали объяснения, комментария, кульбита. Но он замолчал. Серьёзный, сосредоточенный, он снова принялся курить и теперь, казалось, думал о чём-то другом. Разговор с этого момента продолжался беспорядочно, вяло, касаясь тысячи ненужных тем, вялым тоном.

Тогда один человек с измождённым лицом, сгорбленной спиной, тусклым взглядом, преждевременно совершенно седой, с трудом поднялся и дрожащим голосом сказал:

— Вы говорили обо всём, но не о женщинах, что поистине непостижимо в вопросе, где они имеют первостепенное значение.

— Что ж!.. поговорим о них, — одобрил знаменитый писатель, который оказался в своей любимой стихии, ибо в литературе слыл за того любопытного глупца, которого называют маститым феминистом. — В самом деле, пора, чтобы немного радости развеяло эти кошмары крови... Поговорим о женщине, друзья мои, ибо в ней и через неё мы забываем наши дикие инстинкты, учимся любить, возвышаемся до высшего представления об идеале и сострадании.

Человек с измождённым лицом издал смех, в котором ирония скрипела, как старая дверь на заржавленных петлях.

— Женщина — воспитательница сострадания! — воскликнул он. — Да, я знаю эту песню... Она широко используется в известной литературе и в курсах салонной философии... Но вся её история, и не только история, но её роль в природе и в жизни опровергают это сугубо романическое утверждение. Так почему же женщины бегут на кровавые зрелища с таким же исступлением, как на сладострастие? Почему на улице, в театре, на суде присяжных, у гильотины мы видим, как они вытягивают шеи, жадно открывают глаза на сцены пыток, испытывая вплоть до обморока ужасную радость смерти? Почему одно имя великого убийцы заставляет их трепетать до самых глубин плоти от сладостного ужаса? Все, или почти все, они грезили о Пранзини... Почему?

— Полноте! — воскликнул знаменитый писатель. — Проститутки...

— Да нет же, — возразил человек с измождённым лицом, — знатные дамы и мещанки... Всё одно. У женщин нет моральных категорий, есть только социальные категории. Они — женщины. Из народа, из высшей и мелкой буржуазии, и даже из более высоких слоёв общества женщины бросаются в эти отвратительные морги, в эти мерзкие музеи преступления, какowymi являются фельетоны «Пти журнал»... Почему? Да потому что великие убийцы всегда были страшными любовниками. Их порождающая сила соответствует их преступной силе... Они любят, как убивают! Убийство рождается из любви, и любовь достигает своей высшей интенсивности через убийство. Это то же физиологическое возбуждение... те же удушающие жесты, те же укусы... и часто те же слова в одинаковых спазмах.

Он говорил с усилием, с видом страдающим... и по мере того как он говорил, глаза его становились всё тусклее, морщины на лице углублялись.

— Женщина — изливает идеал и сострадание! — продолжал он. — Но самые чудовищные преступления почти всегда — дело рук женщины. Это она их замышляет, комбинирует, готовит, направляет. Если она не исполняет их собственной, часто слишком слабой рукой, то по их свирепости, беспощадности видно её моральное присутствие, её мысль, её пол. «Ищите женщину!» — говорит мудрый криминалист...

— Вы клевете на неё! — запротестовал знаменитый писатель, не скрыв жеста негодования. — То, что вы выдаёте за обобщения, — редчайшие исключения... Дегенерация, невроз, невращения... конечно! женщина не более, чем мужчина, невосприимчива к душевным болезням... хотя у неё эти болезни принимают очаровательную и трогательную форму, которая заставляет нас лучше понять тонкость её изысканной чувствительности. Нет, сударь, вы попадаете в плачевную ошибку, и я осмелюсь сказать — преступную... Что нужно восхищать

в женщине — это, напротив, глубокий смысл, глубокую любовь к жизни, которая, как я уже говорил, находит окончательное выражение в сострадании.

— Литература!.. сударь, литература!.. и худшая из всех.

— Пессимизм, сударь!.. кошунство!.. глупость!

— Мне кажется, вы оба ошибаетесь, — вмешался врач. — Женщины гораздо более утончённы и сложны, чем вы думаете. Как несравненные виртуозы, как высшие художницы страдания, каковыми они являются, они предпочитают зрелище страдания зрелищу смерти, слёзы — крови. И это нечто восхитительно двусмысленное, где каждый находит свою выгоду, ибо каждый может сделать совершенно разные выводы, превозносить сострадание женщины или проклинать её жестокость, по одинаково неопровержимым причинам, в зависимости от того, предрасположены ли мы в данный момент быть ей благодарными или ненавидеть её. И потом, к чему все эти бесплодные споры? Раз уж в вечной битве полов мы всегда побеждены, и ничего тут не поделаешь... и все мы, женоненавистники или феминисты, ещё не нашли для своего удовольствия и продолжения рода более совершенного инструмента, чем женщина?

Но человек с измождённым лицом делал жесты энергичного отрицания.

— Выслушайте меня, — сказал он. — Случаи жизни — а что это была за жизнь! — поставили меня лицом к лицу не с женщиной... а с Женщиной. Я видел её, свободной от всех ухищрений, от всего лицемерия, которым цивилизация покрывает, как убором лжи, её истинную душу. Я видел её преданной одной лишь прихоти или, если хотите, одной лишь власти её инстинктов, в среде, где ничто, правда, не могло их сдерживать, а всё, напротив, сговаривалось их разжигать. Ничто не скрывало её от меня: ни законы, ни мораль, ни религиозные предрассудки, ни общественные условности. Я видел её в её правде, в её изначальной наготе, среди садов и пыток, крови и цветов! Когда она предстала передо мной, я пал на самое дно человеческого унижения — по крайней мере, я так думал. Тогда перед её любящими глазами, перед её сострадательными устами я вскрикнул от надежды и поверил... да, я поверил, что через неё буду спасён. И вот, это было ужасно! Женщина открыла мне преступления, которых я не знал, мраки, в которые я ещё не спускался. Посмотрите на мои мёртвые глаза, на мой рот, который уже не умеет говорить, на мои руки, которые дрожат... и это только от того, что я её видел! Но я не могу проклинать её, как не проклинаю огонь, пожирающий города и леса, воду, топящую корабли, тигра, уносящего в пасти, в глубине джунглей, кровавую добычу. В женщине есть космическая сила стихии, неодолимая сила разрушения, как у природы. Она сама по себе — вся природа! Будучи лоном жизни, она тем самым является лоном смерти... ибо из смерти вечно возрождается жизнь... а уничтожить смерть — значит убить жизнь в её единственном источнике плодородия.

— И что это доказывает?.. — сказал врач, пожимая плечами.

Он просто ответил:

— Это ничего не доказывает... Разве для того, чтобы быть болью или радостью, вещам нужно доказательство? Их нужно чувствовать.

Затем, с робостью и — о сила человеческого самолюбия! — с явным самодовольством, человек с измождённым лицом вынул из кармана свёрток бумаги и осторожно развернул его.

— Я написал, — сказал он, — рассказ об этой части моей жизни... Долго колебался, публиковать ли его, и до сих пор колеблюсь. Я хотел бы прочитать его вам, вам, кто мужчины и не боится проникать в самые тёмные бездны человеческих тайн... Пусть же вы сможете выдержать его кровавый ужас! Называется это — «Сад мук».

Наш хозяин попросил новые сигары и новое питьё.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В МИССИИ

Прежде чем поведать об одной из самых жутких страниц моего дальневосточного путешествия, стоит, пожалуй, коротко объяснить, как я вообще туда попал. Это уже относится к новейшей истории.

Если кто-то удивится, почему я так упорно прячу своё имя в этом правдивом и горьком рассказе, — вот мой ответ. Имя не важно. Это имя человека, который причинил много зла другим и себе — себе даже больше. Он пережил столько потрясений, опускался на самое дно людских желаний и теперь ищет новую душу в одиночестве и неизвестности. Пусть земля ему будет пухом — и его грехам тоже.

I

Двенадцать лет назад, не зная, куда податься, из-за череды провалов оказавшись перед выбором: удавиться или сигануть в Сену, — я выставил свою кандидатуру на парламентских выборах. Последнее средство. В департаменте, где я, кстати, никого не знал и никогда не бывал.

Правда, мою кандидатуру негласно поддерживал кабинет министров. Они тоже не знали, куда меня деть, и таким остроумным способом надеялись раз и навсегда отделаться от моих ежедневных, неотвязных просьб.

По этому случаю у меня состоялась с министром — моим другом и бывшим однокашником — встреча, торжественная и вместе с тем дружеская.

— Видишь, как мы к тебе добры? — сказал этот всемогущий друг. — Едва вытащили из лап правосудия — и это нам в копеечку встало, — как уже собираемся сделать тебя депутатом.

— Меня ведь ещё не избрали, — проворчал я.

— Несомненно! Но у тебя есть все шансы. Умный, обаятельный, расточительный, славный малый, когда захочешь. У тебя есть высший дар — нравиться. Женолюбы, дорогой мой, всегда любимцы толпы. Я за тебя ручаюсь. Надо только правильно понять ситуацию. Впрочем, она очень проста.

И он наставлял меня:

— Запомни: никакой политики! Не спорь, не горячись. В твоём округе есть только один вопрос — свёкла. Остальное — ерунда, это уже к префекту. Ты — чисто сельскохозяйственный кандидат. Даже больше — свекловичный. Усек? Что бы ни случилось, стой на этой платформе насмерть. Ты хоть немного разбираешься в свёкле?

— Честно говоря, нет, — ответил я. — Знаю только, что из неё делают сахар и спирт.

— Bravo! Этого довольно, — одобрил министр с уверенным и сердечным начальственным видом. — Действуй смело. Обещай баснословные урожаи, бесплатные химические удобрения, железные дороги, каналы — всё для перевозки этого патриотического овоща. Снижай налоги, сули премии крестьянам, вводи грабительские пошлины на конкурентов — всё, что хочешь. В этой области у тебя полная свобода. Я помогу. Но не давай себя втягивать в личные или политические споры — они могут тебя погубить и заодно подорвать репутацию Республики. Ибо, между нами, старина, — я тебя ни в чём не упрекаю, я только констатирую, — у тебя довольно неловкое прошлое.

Мне было не до смеха. Уязвлённый этим замечанием, показавшимся мне излишним и обидным, я живо возразил, глядя прямо в глаза другу, чтобы он прочитал в них, сколько холодных угроз я там накопил:

— Ты мог бы сказать точнее: «У нас есть прошлое...» Мне кажется, твоё, дорогой товарищ, ничуть не лучше моего.

— О, я! — произнёс министр с видом превосходства и беззаботного благодушия. — Это другое дело. Я... мой милый... я прикрыт. Францией!

И, возвращаясь к моим выборам, добавил:

— Итак, подведу итог. Свёкла, опять свёкла, всегда свёкла — вот твоя программа. Смотри не отступай.

Затем он незаметно всучил мне кое-какие деньги и пожелал удачи.

Этой программе, начертанной моим могущественным другом, я следовал неуклонно — и зря. Меня не избрали. Подавляющее большинство, полученное моим противником, я приписываю, помимо некоторых нечестных махинаций, тому, что этот чёртов человек был ещё невежественнее меня и отличался более отъявленной подлостью.

Заметим к слову: нынче откровенная подлость сходит за все таланты. Чем мерзее человек, тем охотнее ему приписывают и ум, и честь.

Мой противник, ныне одно из самых бесспорных светил политики, воровал многократно. И его превосходство проистекало из того, что он не только не скрывал этого, но и хвастался с самым возмутительным цинизмом.

«Я воровал... я воровал...» — вопил он на деревенских улицах, на городских площадях, вдоль дорог, в полях.

«Я воровал... я воровал...» — возвещал он в предвыборных обращениях, в стенгазетах и конфиденциальных циркулярах.

А в кабаках, взобравшись на бочки, его агенты, перепачканные вином и раскрасневшиеся, повторяли, трубили эти магические слова:

«Он воровал... он воровал...»

Поражённые, трудовые массы городов и доблестные сельские жители приветствовали этого смелого человека с исступлением, которое росло день ото дня в прямой зависимости от исступления его признаний.

Как мог я бороться с таким соперником, имеющим такие послужные списки, я, у которого на совести были лишь мелкие юношеские шалости (и я стыдливо это скрывал): домашние кражи, вымогательства у любовниц, шулерство, шантаж, анонимные письма, доносы и подлоги? О наивность невежественной юности!

Я чуть было не был избит однажды вечером на публичном собрании разъярёнными избирателями. За то, что в ответ на скандальные заявления моего противника я отстаивал, наряду с превосходством свёклы, право на добродетель, мораль и честность и провозгласил необходимость очистить Республику от личного мусора, который её бесчестит. На меня набросились, схватили за горло, передавали с кулака на кулак, приподнимая и швыряя, как тюк. К счастью, я отделался всего лишь флюсом на щеке, тремя ушибленными рёбрами и шестью выбитыми зубами.

Вот и всё, что я приобрёл в этом злополучном приключении, куда меня столь неудачно завело покровительство министра, называвшего себя моим другом.

Я был взбешён. И имел на это полное право — в самый разгар битвы правительство меня бросило, оставило без поддержки, с одной лишь свёклой как талисманом, чтобы сговориться и поладить с моим противником.

Префект, сначала весьма смиренный, вскоре стал крайне дерзким; затем он отказывал мне в сведениях, полезных для моей кампании; наконец, он почти закрыл передо мной дверь. Сам министр больше не отвечал на мои письма, ни в чём мне не уступал, а преданные газеты направляли против меня глухие выпады, неприятные намёки, облачённые в вежливую и цветистую прозу. До открытой борьбы не доходило, но всем было ясно, что меня бросают на произвол судьбы. Ах! Думаю, никогда ещё столько желчи не вмещалось в душу человека.

Вернувшись в Париж, твёрдо решив устроить скандал, рискуя всем, я потребовал объяснений от министра. Моё поведение сразу же сделало его уступчивым и податливым.

— Дорогой мой, — сказал он, — я сожалею о том, что случилось. Честное слово! Ты видишь меня в глубочайшей печали. Но что я мог поделать? Я не один в кабинете, и...

— Я знаю только тебя! — прервал я его с яростью, опрокинув стопку бумаг, лежавшую на столе под рукой. — Другие меня не касаются. Другие — не моё дело. Есть только ты. Ты меня предал. Это подло!

— Но, чёрт возьми! Послушай же меня, в самом деле! — взмолился министр. — И не горячись так, не узнав...

— Я знаю только одно, и этого довольно. Ты посмеялся надо мной. Нет, нет! Всё будет не так, как ты думаешь. Теперь мой черёд.

Я расхаживал по кабинету, изрыгая угрозы, пиная стулья.

— Ах! ах! ты посмеялся надо мной! Так мы же сейчас повеселимся... Страна узнает наконец, что такое министр. Рискую отравить страну, я покажу ей, распахну настежь душу

министра. Идиот! Ты что, не понял, что я держу тебя, твоё состояние, твои тайны, твой портфель! Ах, моё прошлое тебе мешает? Оно оскорбляет твою стыдливость и стыдливость Марианны? Ну что ж, подожди! Завтра, да, завтра всё узнают.

Я задыхался от гнева. Министр попытался меня успокоить, взял под руку, мягко потянул к креслу, из которого я только что вскочил.

— Да замолчи же ты! — сказал он, придавая голосу умоляющие интонации. — Выслушай меня, прошу тебя! Сядь, ради бога! Чёртов человек, ничего не желающий слышать! Вот что произошло.

Очень быстро, отрывистыми, сбивчивыми, дрожащими фразами он затараторил:

— Мы не знали твоего противника. В борьбе он проявил себя как очень сильный человек... как настоящий государственный деятель! Ты знаешь, как ограничен состав потенциальных министров. Хотя всегда возвращаются одни и те же, нам время от времени нужно показывать палате и стране новое лицо. А их нет. Ты знаешь таких? Ну вот, мы подумали, что твой противник может быть как раз таким лицом. У него есть все качества, подходящие для временного министра, министра кризисного... В конце концов, раз он был продажным и стоворчивым, сразу же, понимаешь? Мне жаль тебя, признаюсь... Но интересы страны — прежде всего...

— Не говори глупостей. Мы не в палате. Речь не об интересах страны, на которые тебе наплевать, как и мне. Речь обо мне. А я, благодаря тебе, оказался на улице. Вчера вечером кассир моего игорного притона нагло отказал мне в ста су. Мои кредиторы, рассчитывавшие на успех, взбешённые моим провалом, травят меня как зайца. Меня продадут с молотка. Сегодня мне даже не на что пообедать. И ты наивно полагаешь, что всё может так и остаться? Ты что, совсем поглупел... как член твоего большинства?

Министр улыбался. Он фамильярно похлопал меня по колену и сказал:

— Я вполне готов — но ты не даёшь мне говорить — я вполне готов предложить тебе компенсацию...

— Ком-пен-са-цию!

— Компенсацию, пусть так!

— Полную?

— Полную! Приходи через несколько дней. Я, вероятно, смогу тебе её предложить. А пока вот сто луидоров. Это всё, что у меня осталось из секретных фондов.

Он добавил любезно, с сердечной весёлостью:

— Полдюжины таких молодцов, как ты, — и бюджета не станет!

Эта щедрость, на которую я не смел и рассчитывать, мгновенно успокоила мои нервы. Я сунул в карман — правда, ещё ворча, ибо не хотел показывать себя обезоруженным или довольным — два билета, которые, улыбаясь, протягивал мне друг... и удалился с достоинством.

Следующие три дня я провёл в самой низкой распутной жизни.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.